

А.А. Кретов
ФОНЕМА: АКСИОМАТИКА И ВЫВОДЫ

© 2001 г. А.А. Кретов

Воронежский государственный университет

Эта статья может быть воспринята как критика освященных временем положений Московской Фонологической Школы (МФШ). С таким восприятием можно было бы даже согласиться, но с одной существенной поправкой. Критика, а особенно критика научной Школы, предполагает отвержение и опровержение научных основ Школы. Критика Школы – это всегда критика извне, критика со стороны другой Школы. Критика же, не только не отвергающая теоретических основ Школы, но, напротив, опирающаяся, базирующаяся, основывающаяся на них, исходящая из них, называется не критикой, а *развитием идей* Школы. Будучи убежденным приверженцем идей Московской Фонологической Школы, и шире – Московской (Фортунатовской) лингвистической школы (что, впрочем, не мешает автору считать себя и последователем Бодуэна) – автор статьи видит свою задачу в том, чтобы указать, во-первых, на внутренние теоретические противоречия, имеющиеся в трактовке фонемы представителями МФШ, во-вторых, на заложенный в аксиоматике МФШ научный потенциал, открываемый разрешением этого противоречия, и, в-третьих, на широкие теоретические и прикладные перспективы, которые открывает реализация этого потенциала.

Научная парадигма МФШ основана на двух принципиальных положениях: морфематизме Бодуэна и позиционном анализе Ф.Ф. Фортунатова.

Соответственно, исходными в аксиоматике МФШ являются два положения:

1. **Функция фонемы состоит в различении и отождествлении морфем** (Ср. “Звуковое качество, дифференцирующее морфемы языка, называется *фонемой*. Фонема – это идеальное языковое задание,

то “общее”, которое под влиянием актуальных фонетических факторов реализуется в... “отдельном” [Аванесов, Сидоров 1930; цит. по Реформатский 1970, с. 150]”; “Исходным моментом во взглядах московских фонологов на фонему была морфема. В их построениях **тождество морфемы определяет собой границы и объем понятия фонемы**. Именно поэтому эти ученые **считают фонемой весь ряд позиционных чередований** (пересекающихся, не параллельных по отношению к другим аналогичным рядам) во главе со звуковой единицей, различающейся в сильной позиции. Таким образом, звуковые единицы, выступающие в слабых позициях и чередующиеся с той или иной звуковой единицей, различающейся в сильной позиции и являющейся фонемой, объединяются с последней в одну единицу (фонему) на положении ее вариантов” [1, 39]).

2. Из положения (1) следует, что **звуковые различия, не нарушающие тождества морфемы, не являются фонологическими**, а представляют собой звуковое варьирование фонемы. Назовем это **морфемоцентричным принципом МФШ**.

3. **Фонема – ансамбль позиционно необусловленных (позиционно независимых) признаков**. (Ср. у А.А. Реформатского: “единство вариативов, позиционно зависимых, в единице высшего порядка – в фонеме, которая может мыслиться только как независимая от позиций единица и как “высшая” ступень в отношении “вариативов” ее же” [18, 96]; “передаются только непозиционные замены” (т.е. передаются только *мены фонем*)” [17, 279]; “...представители этого учения [МФШ] считают, что все звуки, связанные жи-

вым позиционным чередованием в морфеме, принадлежат к составу одной фонемы; что живые позиционные чередования возможны только в пределах фонемы – между ее вариантами (“разновидностями”, “модификациями”), а фонемы между собой в живые позиционные чередования не вступают. Следовательно, эти чередования с излагаемой точки зрения, не затрагивают фонемного состава морфем” [2, 63].

Из положения (2) следует, что **позиционно обусловленные признаки звуков речи не являются фонологическими.**

Назовем это **позиционным принципом МФШ.**

Будучи неоднократно декларированы, в практике (и теории) МФШ эти принципы проведены непоследовательно, что и дает право говорить о недостроенности научной парадигмы МФШ и анализировать результаты, к которым с логической неизбежностью приводит их последовательное проведение.

Последовательное же проведение, например, на материале русского языка, морфемцентричного и позиционного принципов МФШ дает далеко не тривиальные результаты. Убедимся в этом на конкретных примерах.

реч=Øк а	нож=Øк а	муш=Øк а
реч=ек Ø	нож=ек Ø	муш=ек Ø

Мы видим, что по меньшей мере в одной из словоформ чередование сохраняет свою “фонетическую” обусловленность. Между тем нетрудно заметить, что варианты морфемы {=БК} находятся в отношениях дополнительного распределения: перед слогом с гласным полного образования фонемы [ь] реализуется как [Ø] звука, а перед слогом с редуцированным в слабой позиции [ь]=[Ø] – в виде [e]. Таким образом, мнение о падении редуцированных, сформировавшееся в дофонологический период, принимается в виде аксиомы без попыток его позиционного осмысления. Перефразируя известное высказывание Марка Твена, можно сказать, что “слухи о падении редуцированных сильно преувеличены”. “Редуцированные” фонемы не исчезли, а лишь изменили форму своей ма-

С.Б. Бернштейн пишет: “У нас не возникает сомнений в том, что в русских словах ... **река-речка, нога-ножка, мухамушка** и т.д. представлены тождественные корневые морфемы» [3, 5]. А коли так, у нас не должно возникать сомнений в том, что к/ч, г/ж и х/ш являются не самостоятельными фонемами, а вариантами одной фонемы. Если фонема не выполняет конституирующей ее функции, значит, она не фонема.

Сделать такой вывод С.Б. Бернштейну - и не ему одному - мешает второе положение: данное чередование должно быть позиционно обусловленным. А это, согласно единодушному мнению, если и имело место, то в далёком прошлом: “До утраты сверхкратких в “слабой” позиции данные преобразования носили фонетический характер: перед суффиксальным **к** находился **ь**, перед которым все задненёбные закономерно изменялись в передненёбные. После утраты **ь** была утрачена и фонетическая обусловленность преобразования” [3, 6].

В данном случае С.Б. Бернштейн, сам того не замечая, рассуждает не как фонолог, а как фонетист, т.е. рассуждает по принципу “нет звуков – нет фонем”.

Рассмотрим словоизменительную парадигму приведенных им слов:

нифестации. Если раньше редуцированные во всех позициях были материально выражены, то после так называемого “падения” они существуют в виде беглого [o] и беглого [e], причем реализация нулевого и ненулевого вариантов позиционно обусловлена”.

Если с позиций МФШ еще можно говорить, что в словоформе *ручка* суффикс вообще не имеет гласной фонемы, а в словоформе *ручек* в суффиксе реализована фонема [e], то с позиций МФШ, с позиций Фортунатовской школы, с точки зрения позиционного анализа вывод может быть только одним: в суффиксе реализована фонема [ь], позиционно обусловленными, а следовательно – нефонологическими – вариантами которой являются фон [e] и [Ø] – ноль звука.

Было бы несправедливо не указать на то, что глава ЛФШ – Лев Владимирович Щерба, силой своей гениальности вырвался за пределы субстанциализма ЛФШ (о чем в свое время с удовлетворением писали М.В. Панов и А.А. Реформатский) и дал определение фонемы, никак не укладывающееся в рамки ЛФШ: “Во французском языке приходится различать две фонемы “*œ*”: одна, которая никогда не выпадает и которую мы и будем обозначать через “*œ*”, и другая, которая в потоке речи может выпасть при известных условиях и которую, хотя она чисто фонетически и совпадает с первой, мы будем обозначать через “*ø*”. <...> Таким образом фонемой “*ø*” называется такое “*œ*”, которое в известных условиях чередуется с нулем звука [24, 101]. Таким образом, Л.В.Щерба в данном конкретном случае рассуждает как последовательный “москвич”, принимая во внимание позиционную обусловленность (“в известных условиях”) фонетических чередований. Безоговорочно зачислить Л.В.Щербу в число сторонников МФШ мешает его собственный комментарий: “В современном русском языке нельзя найти ничего вполне аналогичного [выделено мной – А.К.]. _ _ _ ...мы имеем в русском никогда не исчезающее *o, e* (дом, воз, мел, тень) рядом с *o, e* беглыми (лоб | лба, мох | мха, день | дня, пень | пня), и это вполне параллельно с противоположением *reupler* и *demande* во французском; разница только в том, что по-русски в формах лба, дня беглые гласные “не могут быть произнесены, французское же “*ø*” в *à demande* всегда может быть произнесено”. Как видим, Л.В.Щерба отказывается распространить своё открытие на русский материал на том основании, что в формах лба, дня беглые гласные “не могут быть произнесены”. Тут-то и дает себя знать субстанциализм ЛФШ.

Но открытие Л.В.Щербы не было принято и МФШ. Её представитель П.С.Кузнецов писал: “Считать его [*e inlabile* – А.К.] особой фонемой на том основании, что оно факультативно чередуется с нулем, невозможно. Факультативные колебания гласных фонем в слабых позициях широко распространены, и это

вопрос, выходящий за пределы фонетики, почему в одних словах это чередование [*ø*] с нулем наблюдается, а в других словах с таким же [*ø*] нет” [19, 196]. Действительно, факультативные чередования ни к чему не обязывают фонолога, а вот позиционно обусловленные – обязывают. Но главное даже не это. Принятие взгляда Л. В. Щербы предполагало принципиально новый взгляд на фонему и фонологию. Если ЛФШ не смогла преодолеть гипноз слабой фонетической позиции, то над МФШ довлеет гипноз сильной фонетической позиции: “Я считаю, однако, что наличие особой фонемы [*ø*] не может быть выведено, исходя из нашего понимания фонемы и фонематических отношений. Ведь как уже было сказано, различными фонемами могут быть признаны лишь звуки (!), реализующие свои противопоставления в тождественном положении, и это положение должно быть сильной позицией для фонем данного класса” [14, 195].

Отметим, что из морфемцентричного и позиционного принципов МФШ никак не следует необходимости учёта исключительно сильной фонетической позиции при определении номенклатуры фонем. Напротив, это ограничение одной сильной позицией противоречит всей практике и всему пафосу МФШ. Если фонемы – это только варианты, реализуемые в сильной фонетической позиции, зачем различать варианты и вариации фонем, зачем вводить понятие гиперморфемы, а затем – и отличать его от понятия архифонемы, зачем заниматься нейтрализацией фонологических оппозиций? При ограничении фонологии сильной позицией всё это становится совершенно излишним.

Тут П. С. Кузнецов на мгновение перестает быть фонологом-функционалистом и становится фонологом-субстанционалистом. Логика такая: “Фонемы – это то, что по-разному звучит в сильной позиции, а что там происходит в слабых позициях – это, вообще, “вопрос, выходящий за пределы фонетики”. В данном случае “гипноз сильной позиции” пришел в явное противоречие с основными положениями МФШ. Ср. критику фонологии Л.В.Щербы со стороны

С.И.Бернштейна: “*Меня не удовлетворяли некоторые существенные положения его фонологической теории... Это... отождествление фонемы с ее основным оттенком*” [2, 62]. Показательна позиция современных представителей МФШ: “*Фонема включает весь ряд позиционно обусловленных чередующихся звуков. При этом имеют вид и сильные и слабые позиции*” [10, 123].

Справедливо отказываясь считать фонологическими “факультативные” чередования, П. С. Кузнецов не замечает, как распространяет этот отказ и на позиционно обусловленные чередования. И всё же при этом великий лингвист явно чувствует себя некомфортно. Он пишет: “*Правда, исторически оба [õ] получились различными путями, но это не имеет значения для отношений, действующих в современном языке [13, 196]*”. В данном случае Петр Саввич не прав принципиально: генетическое различие звуков имеет серьезнейшее значение «для отношений, действующих в современном языке». Это одно из фундаментальных положений системологии и мироустройства вообще. И лингвисты не вправе полагать, будто оно распространяется на все системы, кроме системы языка. Поэтому нам вовсе не безразличен тот факт, что *О*-беглое и *О*-стабильное восходят к исторически разным фонемам, потому что это связано с морфеморазличением.

Далее у П. С. Кузнецова следует самое главное: “*Идя путем, предложенным Л. В. Щербой, мы могли бы доказать и наличие двух фонем [О] в современном русском языке, одного чередующегося с нулем, другого не чередующегося. Ведь сам же Л.В.Щерба к тому же в примечании указывает на некоторую аналогию с *instable* с русским [o], чередующимся с нулем*” [14, 196]. Очень жаль, что П. С. Кузнецов не пошел этим путем! Это путь Бодуэна, органически связанный с методологией позиционного анализа Московской лингвистической школы, основанной Ф. Ф. Фортунатовым. Но уже в следующем поколении представителей МФШ - у Т. В. Булыгиной в работе 1975 года - мы встречаем “морфонемы” {ь}-{ь}, {у}-{и} и {ё} [5, 328-340].

Правда, следует еще признать, что это не морфонемы, а фонемы и что **фонема** – это не звучание (даже в сильной фонетической позиции), а образ жизни, тип поведения, ряд позиционно обусловленных фонем (включая нулевой); это двуединая функция – отождествления и различения морфем. В речи фонема всегда представлена одним из своих позиционно обусловленных вариантов, среди которых может быть и ноль звука, если это обусловлено позицией. Ср. мнение С.И.Бернштейна: “...я считал, что представители “новомосковской школы” напрасно затушевывают понятие позиционного чередования и не указывают с достаточной определенностью, что фонема представляет собой альтернативный ряд” [2, 63].

Принципиально важным представляется следующее рассуждение Д.Ворта: “...термины “обратное чередование”, “восстановление фонемы” и т.д. точно описывают иррелевантные явления фонемной поверхности, но оставляют вне поля зрения существенные морфонологические процессы. Такое поверхностное описание, которое видит “нерегулярности” в таких парах, как *сдвинуть* → *сдвиг*, *взглянуть* → *взгляд*, грешит против здравого смысла: ведь говорящий на русском языке человек знает морфемы своего языка и узнает их во всех тех алломорфных вариантах, в которых эти морфемы появляются в разных частях речи и в разных грамматических формах. Этот говорящий прекрасно знает (хотя об этом и не размышляет сознательно), что морфема {гл’ад} содержит {д}, а морфема {дв’иг} содержит {г}, хотя эти {д}, {г} далеко не всегда “прорубаются” до фонетической поверхности. Иными словами, сам носитель русского языка знает, что в каком-то ему самому, вероятно, неясном смысле глагол *взглянуть* содержит “неслышимое” {д}, а глагол *сдвинуть* – неслышимое {г}, что *ч* в *кричать* как раз обязательно видоизменится в *к* в *крикнуть*, и т.д. и т.п. Именно эта очевидная узнаваемость и воспроизводимость фонологической структуры морфем должна отражаться в лингвистическом описании. Фонемной записи такая задача со-

вершенно не под силу. Для этого нам нужен более сильный, т.е. обобщающий, более абстрактный аппарат” [7, 59-60].

Есть необходимость различать типы позиций, в которых происходит чередование вариантов фонемы, но нет необходимости ограничивать пределы этого чередования исключительно каким-либо одним типом позиций, например, фонетическим, в ущерб грамматическому. Ср. мнение Бодуэна: “морфологические сопоставления составляют исходную точку для сопоставлений фонетических” [4, 118].

Из этого следует, что проблемы фонологии не могут быть решены без решения проблем морфемики и морфологии.

Если вернуться к примеру и рассуждению С. Б. Бернштейна, то выясняется, что фонема [Б] в суффиксе =БК никуда не исчезла, она просто изменила форму проявления, расщепившись на два варианта, находящихся в отношениях дополнительной дистрибуции. То, что даже в слабой позиции редуцированный присутствует, доказывается тем, что палатализация заднеязычных осуществляется и в слабой позиции.

Для объяснения данного процесса требуется ввести понятие морфемного стыка как особой фонологической позиции.

Н.С.Трубецкому принадлежит глубокое замечание, на которое, как кажется, не было обращено достаточно внимания: “*Внешним признаком морфемной границы является наличие некоторых звуко сочетаний, недопустимых в пределах одной морфемы*” [21, 78]. В соответствии с этим Н.С.Трубецкой предложил различать ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ СТЫК (приставка + приставка или приставка + корень) или стык компонентов сложного слова (Ср. также замечание: “*Русские предлоги обладают в точности такими же фонологическими признаками, что и префиксы*” [21, 76]); СУФФИКСАЛЬНЫЙ СТЫК (суффикс + суффикс или суффикс + корень), ФЛЕКТИВНЫЙ (в переводе Н. А. Васильевой и А. А. Королева – “флексионный”) СТЫК (флексия + суффикс или флексия + корень) [21, 78]. В указанном переводе говорится не о “сты-

ке”, а о “шве”. Применительно к слову употреблявшаяся А.А.Реформатским плотницкая терминология (“стык”) кажется нам удачнее швейной (“шов”).

Вслед за Н.С.Трубецким к идее стыка как фонологической позиции пришел и А.А.Реформатский, еще в 1957 году писавший: “*Дело в том, что вопреки мнению многих сторонников “автономии” фонетики, она – член общей структуры языка и через морфонологию теснейшим образом связана с морфологией. Бодуэн де Куртенэ всегда подчеркивал теснейшую связь фонем и морфем. Фонемы существуют не где-то, а только в морфемах, и сами морфемы (их тип: корень, префикс, суффикс, флексия), и характер соединения в слов – необходимые характеристики “условий” для существования фонем. ... дело, конечно, в том, что фонемы те же, а “условия” разные. ... следует еще и еще подчеркнуть, что без учения о позициях (в том числе морфонологических) построить фонологию нельзя*” [19, 483-484]. Хотя А.А.Реформатский и не дал в явном виде классификации стыков, но из рассмотренных им примеров видно, что он, по существу, различал префиксальный стык (под|садить [тц]) и суффиксальный (ленинград|ский [ц]), а также суффиксальный и межсловный (пят|ься [т'+с'], но купать|ся [ц:]). (Поскольку фонетические явления, происходящие на стыке “постфикса” -СЯ с глаголами, не позволяют считать этот стык внутрисловным, все возвратные глаголы рассматриваются нами как сочетания глагольных словоформ с возвратным местоимением СЯ {сын}). Кроме фонетических, к такому решению подталкивают и морфологические резоны: все слова русского языка оканчиваются флексией или ее значимым отсутствием, и только возвратные глаголы – на чисто произвольном, орфографическом, основании (например, в македонской орфографии глаголы с возвратным постфиксом СИ пишутся раздельно) – предстают исключением из морфологической системы языка и тем самым как бы выносятся за ее пределы, поскольку у них флексия оказывается, так сказать, “внутренней” - находящейся внутри “слова”).

Более эксплицитная, хотя и менее полная, классификация морфемных стыков принадлежит Д. Ворту, различающему морфемные “швы” “в конце фонетического слова, на стыке предлога или префикса и следующего за ним корня или основы и на границе между основой и следующим за ней окончанием или агглютинативной частицей –ся” [7, 53-54]. Уступая классификации Н.С. Трубецкого в полноте, логичности и терминологичности, классификация Д. Ворта выгодно отличается наличием примеров и комментария.

Во-первых, что такое “морфемный шов в конце слова”? Между чем и чем проходит этот шов? Между последней морфемой предыдущего слова и первой морфемой последующего? Но тогда это “внешнее сандхи” - стык слов, а не морфем.

Приводимый же пример – *город Истра* [гОрът_Ыстръ] как иллюстрация оглушения [Д>Т] в позиции перед гласным относится к явлениям “внутреннего сандхи”, а именно - *флективного стыка*. **Оглушение звонких согласных в конце слова является не фонетическим, а морфологическим явлением – сигналом конца основы.** Строго говоря, это явление имеет место не в абсолютном конце слова, а перед фонемами [Ъ] и [Ь]. На фонему [Ь] указывает мягкость предшествующего согласного (ср. *площадь* [плОш':ьт'], *гладь* [глАт']), а на [Ъ] – трансформация последующего [и], при которой звук [ы] представляет сочетание двух фонем [Ъ] и [И] (ср. *Истра* [и], но в *Истру* [в_Ыстру] = {въ Истру}). Как следует из формы (в первоначальной графике Ы = Ъ+И) и названия буквы (“еры”), это знали уже Кирилл и Мефодий.

Префиксальный стык Д. Ворта (и Н.С. Трубецкого) соответствует именно “внешнему сандхи”, каковым он и является. Эта интерпретация принадлежит Е. Л. Гинзбургу (устное сообщение). Именно наличием редуцированных на конце слова объясняется и несмягчение губных перед *j* (*об{ъ} Елене, об{ъ}ехать, к{ъ} Ивану = [кывАну], к{ъ} Ире = [кЫр'ь]* – внешнее сандхи и гласная фонема переднего ряда - в отличие от *бью, зубья* –

внутреннее сандхи и гласная фонема {i-беглая} переднего ряда [7, 54].

Следует согласиться с А.А. Реформатским, Э.А. Макаевым, Е.С. Кубряковой и Ю.Г. Панкратцем в том, что чередование “может быть названо морфонологическим только тогда, когда оно диктуется морфологией и, не являясь автоматическим, обладает системной значимостью” [17, 371]. Ср. справедливое замечание Ю.Г. Панкратца: «Кажется не отвечающим истинному положению дел и указание на несвязанность морфонологических правил с живыми нормами языка. В языке типа русского морфонология представляет собой компонент живой функционирующей системы, характеризующейся именно тем, что он приводит в действие целый ряд синхронно релевантных правил, отсюда факты типа **блок-блочный, каталог-каталожный, аэродинамика – аэродинамический** и т.п. [Панкратц, там же]).

Относя к морфонологии только явления типа *око-очи, ухо-уши*, мы обнаруживаем неслучайную схожесть и связь этих явлений с явлением просодии. Нередко морфонологические чередования находятся в отношениях дополнительного распределения с переносом ударения с флексии на основу (или обратно). Например, *рука – рУки* – чередования нет, так как формы *руки-рУки* различаются местом ударения. Но *Око – Очи* – чередование есть, так как ударение остается на основе и есть опасность неразличения форм П.ед. и В.мн. *В Оке – В Очи* в случае отсутствия чередования: *в Оке – в *Оки*.

Доказательством жизненности фонетического процесса принято считать его представленность в новейших заимствованиях. Таких доказательств можно привести множество: *коньячный, коньячок*, от *коньяк*; *брючный, брючки*, от *брюки*; *шично* от *шик*; *флажок* от *флаг* и т.д., и т.п..

Соответственно, несправедливым оказывается утверждение С. Б. Бернштейна, что в паре *река-речка* “варианты в фонетическом отношении являются равноправными” [3, 5] и что мена согласных тут обусловлена словообразованием. Мена согласных позиционно обу-

словлена. Как и положено, она происходит перед гласным переднего ряда [Ь]. В форме *речек* он представлен сегментно, в остальных формах – самым фактом чередования. *К* и *Ч* никак не равноправны: [К] – это фонема, а [ч] – ее вариант в позиции перед гласной фонемой переднего ряда. Таким образом, в парах *рука-ручка*, *река-речка*, *штука-штучка* нет чередования фонем *к||ч*, во всех случаях реализована одна и та же фонема [к], только перед гласным переднего ряда [ь] она закономерно реализуется в варианте [ч]. Соответственно, в парах *птица-птичка* и *овца-овечка* нет чередования фонем *ц||ч*, а есть два варианта реализации одной и той же фонемы [к]. В суффиксе =*ик* реализация в варианте =*иц* связана с маркированием женского рода (ср. *ученик*, но *ученица*), а в суффиксе =*ьк* (ср. *овца-овец*, *овечка*) вариант [ц] объясняется морфологическим выравниванием парадигмы по форме именительного падежа, закономерно преобразованной из [к] по третьей палатализации. Только фонема [к] закономерно принимает варианты [ц] и [ч], объяснить которые взаимной трансформацией невозможно (ср. *лик* – *лицо* – *личной* и симметричный ряд *княгиня* – *князь* – *князьна*).

Ответ на вопрос, “зачем это нужно?” проиллюстрируем на двух примерах.

Пример первый.

М.В.Панов и С.М.Кузьмина обнаружили в словаре Ушакова 100 пар слов на =*вить*||=*вление* типа *поздравить* – *поздравление* (в “Обратном словаре русского языка”, по подсчетам Л. Л. Касаткина, таких пар 146) и одну пару на =*вить*||=*вение* – *благословить* – *благословение*.

Казалось бы, по логике вещей, следовало усомниться в паре, составляющей исключение. Однако М.В. Панов и С.М. Кузьмина предпочли усомниться в существовании закономерности, связывающей остальные 100 пар.

Анализ же истории слова *благословение* показывает, что уже в старославянском языке существовало два производных: *благословление* и *благословение*. Из старославянского в церковнославянский русского

извода были заимствованы оба варианта и употреблялись параллельно вплоть до 18 века. Это слово есть в словаре Нордстета (1780 г.), а “Словарь РЯ 18-ого в.” фиксирует *благословление* в комедии Петра Плавильщикова “Бобыль”, опубликованной в 1792 году. Закономерный вариант был вытеснен из употребления незаконным лишь в 19-ом веке. Уже по одному этому ясно, что заимствованное в готовом виде из старославянского (южнославянского) языка слово *благословение* не может и не должно отражать закономерностей современного русского языка, – хотя бы потому, что и закономерности старославянского оно отражало, по меньшей мере, неявно.

Есть два способа объяснить мнимую исключительность формы *благословение* в старославянском языке. Она могла быть образована либо по модели *благословёти* – *благословёние*, либо по модели *омыти* – *омьвление*. В первом случае форма *благословение* составляет пару с глаголом **благословёти*, во втором – с глаголом **благослуги*. Если глагола **словёти* в старославянских текстах не отмечено, как впрочем, и глагола **словити*, то глагол *слоути* ‘слыть’ в старославянских текстах представлен. То, что перед нами калька с греч. *eu-log-I-a* – *благо-слов-ё-ние*, напротив, свидетельствует в пользу первого варианта.

Однако, в любом случае ясно, что форму *благословение* (в отличие от вышедшего из употребления *благословения*) ни в прошлом, ни настоящем нельзя считать парной к глаголу *благословить*.

Таким образом, вся логика рассуждения М.В. Панова и С.М. Кузьминой оказалась построенной на ошибочном предположении о производности существительного *благословение* от глагола *благословить*.

Л.Л. Касаткин указывает также на пары *вдохновить-вдохновение* и *шепелявить-шепелявление*. Первый пример также представляет собой псевдопару, потому что *вдохновение*, образовано от глагола *вдохнуть*, т.е. по модели *столкнуть(ся)* – *столкновение*, *дунуть* – *дуновение*, *обыкнуть* – *обыкновенение*, а не *прибавить* – *прибавление*.

Второй же пример представлен из академических словарей лишь в БАС-1, ни в МАС-1, ни в МАС-2, ни в БТС его нет. Такое единодушие последующих лексикографов оправдано: *шепелявление* представляет собой творение лексикографов, а *шепелявенье* - индивидуально-авторское образование Л.Н.Толстого и документировано в БАС-1 единственным примером из “Войны и мира”: “[Управляющие] после первого страха находили забавным *шепелявенье* Пьера” [БАС-1, 17, 1348]. Поскольку в глаголе *шепелявить* глагольный суффикс безударен, различие [Е] и [И] в заударной позиции нейтрализуется. Восприятие же (разумеется, подсознательное) производящего глагола как **шепеляветь*, давало Л. Н. Толстому право (возможность) образовать форму *шепелявенье*. Прочем, говоря о языке художественной литературы никогда не следует забывать слов Гёте: “...поэту можно извинить, если он и воспользуется не слишком законным приемом, чтобы добиться известного эффекта, которого невозможно достичь простым, естественным путем” [8, 438].

Действительную же проблему составляет церковнославянская пара *преполовити* – *преполовление* [9, 489-490], которой предшествует старославянская *преполовити* – *преполовление* [СтСлС X-XI вв. М.: РЯ, 1994, с.548-549]. Эта пара опущена Л. Л. Касаткиным, видимо, потому, что глагола *преполовити* академическая лексикография по непонятным причинам не фиксирует. В Древней Руси старославянская пара бытовала, а форма *преполовление* известна лишь с 16-ого века [СлРЯ XI-XVII вв., 19, 26] исключительно как обозначение праздника *Преполовления*. С начала 18-ого века эта форма закрепляется в словарях. Фиксируется словарями Ушакова и БАС-1, включена А.И.Солженицыным в “Словарь языкового расширения...”. По мнению З.Д. Поповой (устное сообщение), трансформация *преполовление* > *преполовение* скорее всего объясняется перегруженностью слова плавными и – как следствие - полной диссимиляцией второго из двух [Л] в соседних слогах.

Если же говорить *по существу* предлагаемого М.В. Пановым и

С.М. Кузьминой решения – считать позиционными также и те изменения, которые действуют не на все 100%, то с ним, безусловно, следует согласиться, отметив при этом, что в этом предложении нет абсолютно ничего нового: это не более, чем предложение еще раз “одобрить практику понимания фонетических законов”, существующую в науке о языке, по меньшей мере, со времен Ф.Боппа, Я. Гримма, А.Х. Востокова.

Уровень младограмматиков тут еще не достигнут, поскольку те, провозглашая безысключительность фонетических законов (читай, “позиционных чередований”), ограничивали сферу действия закона, т.е. позиционного чередования, не только тождеством позиции, но также тождеством языка и тождеством хронологического периода. В анализе М.В. Панова и С.М. Кузьминой нарушены все три условия: тождество позиции (словообразовательной), языка и хронологии.

То же можно сказать про мнимое исключение – слово *спекулятивный*, в котором якобы в предударном слоге произносится [л'а]. Во-первых, хотелось бы знать, кем, где и когда так произносится? Орфоэпический словарь таких рекомендаций не дает, сам я так не произношу и от людей такого произношения за свои 49 лет не слышал. Во-вторых, даже если кто-то кое-где у нас порой и произносит это слово таким образом, что это меняет? Может, значение слова, как *мать-мять*? Нет. Может морфологическое значение, как в *белы-белы*, или *унылы-унылы*? Тоже нет. Так что же меняется? Ничего. Тогда какое это имеет отношение к фонологии? Если мы поём “*Что стоишь, качаясь, Тонкая р[а]бина* [вместо р[и]бина]”, неужели это тоже “исключение”? В-третьих, *спекулятив-* основа прилагательного *спекулятивный*. Это основа заимствованная и произношение [л'а] может отражать нормы произношения в языке-источнике. Опять мы сталкиваемся с нарушением одного из условий фонетического закона, а именно – тождества языка. Произношение [а] в слове *спекулятивный* может свидетельствовать только об одном – о том, что оно не русское, а также о недостаточной освоенности (русифициро-

ванности) произношения его иностранной основы отдельными носителями русского языка. Это никакое не исключение, а частный случай общего процесса “освоения” иноязычных элементов системой русского языка.

Столь же ошибочна интерпретация как исключения пары *июнь-июньский*, имплицитно базирующаяся на предположении о гомогенности системы современного русского литературного языка [Касаткин Л. Л., 1995, с. 334]. Между тем система современного русского литературного языка гетерогенна. Она возникла как южно- и восточнославянский симбиоз церковнославянского языка и народных среднерусских говоров. Говоря об аномальности прилагательного *июньский*, полезно обратить внимание на то, что эту же аномальность с ним разделяют прилагательные *сентябрьский*, *отябрьский*, *ноябрьский* и *декабрьский*. Как известно, эти названия месяцев пришли на Русь вместе с христианством на старославянском языке. Показательно свидетельство “Остромирова евангелия”: *Мца еноуара, просиньца рекомаго* [Срезневский 1, 828]. Сохранение мягкости производящей основы в прилагательных *июньский*, *сентябрьский*, *отябрьский*, *ноябрьский* и *декабрьский* объясняется церковнославянской произносительной нормой, сложившейся в XVII-XVIII веках при активном участии высших иерархов православной церкви – выпускников Киево-Могилянской Академии. В этом плане показательна форма *генварьский*, зафиксированная именно в XVII веке: *Минеи дванадесятые письменные четви в десть генварьская скорописная*. Кн. пер. Нил. Столб. III, 55. 1663 г. [СлРЯ XI-XVII вв., 4, 17].

(Этот вариант прилагательного не удержался, поскольку в церковнославянском языке (в отличие от литературного) закрепилась форма производящего *еноуарь* [9, 174], представленная в Супрасльской рукописи (середина XI в) – *енуарь* [СтСлС, 209]. Ср. выше пример из Остромирового Евангелия (1056-1057), а также форму *генуарь* в Мстислав. ев. (до 1117 г.) [Срезневский 1, 512, 828]. Отсюда пара (*г*)*енуарь* → *генварь* → *генварский*

(*январский*): *За генварскую сего года треть ни одному человеку из академических служителей .. дать нечего*. МАН V, 98 [СлРЯ XVIII в. 5, 100]. Таким образом, *январь* – *январский* не составляют деривационной пары, чем и объясняется мнимое “отверждение” производящей основы перед суффиксом {=ьск_ий}. В остальных названиях месяцев на –р и –н конечный согласный изначально был мягким, чем и объясняется сохранение его мягкости в производных прилагательных).

Пример второй.

Американский лингвист М.С. Флайер в своей статье [23, 299-309] пытается доказать существование в современном русском литературном языке мягких веларных фонем уже с середины 18-ого века [23, 300-301].

Удивляясь аллегорическим формам *Олегыч*, *Маркыч*, *Аристархыч* на суффиксальном стыке, исследователь, так сказать, ломится в открытую дверь: в аллегорической форме утрачивается интервокальный согласный, а заударное стыковое сочетание [ъ=и < ъв=и] совершенно закономерно (и так же, как на стыке между словами (*къ Ивану* > *к_ывАну*) дает [ы]. Таким образом, в данном случае [Ы] перед твердыми заднеязычными возможно только потому, что это не [и] и не [ы], а [ъи], а перед [ъ] нет условий для смягчения заднеязычных.

Не приводя ни одного примера на смысловозначительную функцию мягких заднеязычных, автор глубокомысленно называет древнерусскую пару *князь* – *княгыни* аномальной, видя в ней морфонологическое чередование, “*служащее для различения основ мужского и женского рода*”. Между тем данная пара абсолютно закономерна. Вариант [з'] – обусловлен третьей палатализацией, а отнюдь не потребностью таким образом маркировать мужской род (ср. *витязь* < *вицядзь* < *Viking*).

Всю систему своих доказательств М.С. Флайер строит на единственном примере: “*Изменение графыня* > *графиня* подтверждает значимость имеющих фонологических и морфонологических свидетельств, указываю-

щих на то, что твердые и мягкие велярные противопоставлены друг другу как фонемы на протяжении более 250 лет [Флаейр, с.308]”.

Между тем изменение *графиня* > *графиня* существует лишь в воображении исследователя. Стоит обратиться к “Словарю русского языка XVIII в.”, чтобы убедиться: в слове *графиня* никогда не было русского суффикса. Это слово (*Gräfin*) образовано в немецком языке по законам немецкого языка и в чистом виде заимствовано в XVIII-ом веке из немецкого: “От графского дому никого не осталось кроме одной *графини*. Геогр. 1719 218 [СлРЯ XVIII в., 5, 224]”. О том, что изменения *графиня* > *графиня* не было, свидетельствует и время фиксации вариантов: 1710 – *графиня* (появившись, дожил до современности), 1718 – *графиня* (утрачен к концу века), 1719 – *графина* (утрачен к концу века) [СлРЯ XVIII в., 5, 224].

По закону народной этимологии (и – что тоже самое – по закону освоения заимствований) была предпринята попытка, “опознать” в заимствованной финали –ина свой родной суффикс =ыня. Отсюда – форма *графиня*, благополучно дожившая в диалектах до середины 20-ого века. Борьба заимствованной финали с похожей на нее исконную разрешилась компромиссом: [Ф’] сохранило исконную мягкость немецкого языка-источника (отсюда аномальность этой мягкости с точки зрения русского языка), а [н’] смягчился по аналогии с русскими словами на =ыня. Таким образом, рассуждения об использовании и даже формировании оппозиции [ф||ф’] для маркирования морфологической оппозиции мужской||женский род оказываются безосновательными, а вслед за ними – и вся система доказательств фонологичности мягких заднеязычных в русском языке.

В данном случае мы имеем дело с классически чистым примером выстраивания пирамиды теории на острие единичного факта. Не удивительно, что данная теоретическая конструкция, обладая столь высоким опрокидывающим моментом, рушится сама собой.

В данном случае не соблюдено требование единства позиции (нет суффик-

сального стыка, ибо заимствована основа целиком) и языка (немецкая основа анализируется как русская).

Массовое же обследование фактов приводит специалистов к противоположным выводам: “Парадигматические [т.е. непозиционные и фонологические – А.К.] отношения в системе твердых-мягких согласных недостаточно сформировались, она в большей степени подчинена синтагматическим [т.е. позиционным и нефонологическим – А.К.] закономерностям [13, 343]”.

После отрицательных примеров приведем положительные.

Пример первый.

В словаре [11] в одну морфему сведены следующие морфы: *страх*, *страш*, *страст*, *стращ*. Отношение между парами СТРАХ – СТРАШить и приСТРАСТИТЬ – приСТРАЩать понятно: в первом случае [Ш] – позиционный вариант фонемы [X] перед гласным переднего ряда на суффиксальном стыке. Во втором случае [щ] является репрезентантом сразу трех фонем [стй]. При этом фон [й] является позиционным вариантом фонемы [и] – в позиции перед гласным на суффиксальном стыке, т.е. фактически *стращать* можно представить как {страст=и=а_ть}. В данных словах выделяется морф *страст-2*, наряду с которым выделяется также морф *СТРАСТ-1*, объединяющийся в одну морфему с морфом *страд*, представленную в словах *страдать* – *страсть*. Основание для их различия, как мы видим, не формальное, а семантическое: “сильное чувство вообще → сильное чувство по преимуществу = испуг”, соответствует *страст-1* – *страст-2*. С семантической точки зрения перед нами типичный, регулярный, закономерный семантический процесс сужения значения, протекающий в позиции нейтрализации формальных различий двух морфем. Применяя прием этимологической коррекции, убеждаемся, что такое решение правомерно: “связано со *страдать*, из **strad-ть*” [Фасмер 3, 771]. Таким образом, фон [с] является позиционным вариантом фонемы [д] в позиции перед [т] на суффиксальном

стыке. Таким образом, мы получаем ряд *страд*, *страд*=*t*, *страх*. Не с ошибкой ли тут мы имеем дело? Пожалуй, что и с ошибкой, но только не А.И. Кузнецовой, а тех этимологов, которые считают слово *страх* родственным лит. *stregti* ‘оцепенеть, превратиться в лед’, нем. *strecken* ‘растягивать’. Так проведенный ею синхронный анализ фактов современного русского языка позволил подтвердить правоту А. Брюкнера, видевшего в **straxъ* {страд=x_ъ} славянское новообразование по отношению к **strastъ* [Фасмер 3, 772]. В слове *страх* тот же корень *страд*=, что и в *страдание*, *страсть*: в соответствии с законом восходящей звучности на суффиксальном стыке в позиции перед щелевым [x] смычная фонема [d] закономерно представлена [∅]. В терминах переписывания это можно представить как {d=x} → {∅=x}.

Пример второй.

А. И. Кузнецова в предисловии к “Словарю морфем русского языка”, в частности, пишет: “В качестве чередующихся корней часто берут корни с эпентетическим л, как в словах *люб-овь* / *в-любл-ённый*, *лов=ить* / *ловл-я*. В настоящем словаре *l epenteticum* относится не к корням, а к суффиксу...” [15, 10]. Перед нами не просто нетрадиционное техническое решение. Данное решение полно глубокого теоретического смысла. По существу, речь идет о том, что в современном русском языке не существует (и никогда не существовало в прошлом чередования типа губной || губной+l’. В действительности [л’] является (и всегда являлся) позиционным вариантом [й/j]. И именно позиционный анализ доказывает это совершенно неопровержимо. Сравним *в-люб-и-ть(ся)* – *в-люб-л’-ённый*, *лов-и-ть* – *лов-л’-я*. Как видим, [и] и [л’] находятся в одной и той же позиции в слове и с этой точки зрения позиционно эквивалентны. [И] в позиции перед гласным {e} на суффиксальном стыке и перед гласным [а] на флективном закономерно реализуется в неслоговом варианте [й], как того требует закон устранения зияния на внутрисловных (суффиксальном

и флективном) стыках: *в-люб-и-енный* → *в-люб-й-енный*; *лов-и-а* → *лов-й-а*. В свою очередь, [й] в позиции перед губными на суффиксальном стыке закономерно реализуется в варианте [л’] по закону йотации на суффиксальном стыке, который, вслед за Р.О. Якобсоном, принято считать частным случаем проявления закона слогового сингармонизма. Получаем *в-люб-й-енный* → *в-люб-л’-енный*; *лов-й-а* → *лов-л’-а*. Наконец, фонема [e] в позиции после мягкого согласного перед твёрдым согласным под ударением реализуется в варианте [o]: *в-люб-л’-ённый* → *в-люб-л’-о́нный*. Для трактовки [л’] как позиционного варианта [й/j] есть и типологические основания. Во-первых, реализация [й] в виде [л’] широко представлена в диалектах, во-вторых, на статус если не универсалии, то фреквенталии претендует симметричный процесс – [l’ → j], результатом которого является так называемое “сладкоязычие” *маенький*, вместо *маленький*, *майчик* вм. *мальчик*; исп. *llave* [=jave], *llamar* [=jamar].

Как кажется, русский язык не дает оснований для фонологического различия [j] и [й]-неслогового. Независимо от решения этого вопроса совершенно очевидно, что у позиционных вариантов фонемы могут быть собственные позиционные варианты, для чего, собственно говоря, не существует никаких теоретически обоснованных запретов.

Если фонема определяется через морфему, то и анализировать ее следует, исходя из последней. В свое время строго синхронистичных (преимущественно американских) представителей трансформационной грамматики неприятно удивила схожесть их глубоко синхронистических “правил переписывания” с законами диахронической фонетики, “впадать” в которую у них не было ни желания, ни тем более – намерения. Генеративисты открыли (преимущественно, в синтаксисе и фонетике) то измерение языка, которое Д. Н. Шмелев – применительно к лексико-семантическому уровню – назвал *эпидигматическим*. Только запрет – под страхом научной смерти – “впадать в диахронию” помешал им должным образом осмыслить сделанное открытие. (Некоторым прибли-

жением к такому осмыслению можно считать вывод Д.Ворта о значимости *“критерия морфонологической выводимости”*: *“...необходимо выбирать в качестве базового корня такой, который обеспечит выводимость всех слов данного гнезда с помощью наиболее простого набора правил”* [22, 241]. По свидетельству исследователя, *“эта точка зрения на оптимальный выбор базового корня вырабатывалась постепенно, по мере того как исследователи воспринимали генеративные взгляды на словообразовательную морфологию”* [22].

Зато этимологов (Т.В. Гамкрелидзе и Г.А. Климова) их результаты заинтересовали, правда, не столько в теоретическом, сколько в прикладном аспекте: *“Новая разновидность методики внутренней реконструкции может быть, по-видимому, построена на базе генеративного подхода к языку. В основе такой возможности лежит наблюдение, согласно которому некоторые правила порождающей модели языка отражают имевшие место в его прошлом процессы (в частности, морфофонемные “правила переписывания”, посредством которых получаемые в итоге предшествующих этапов процедуры морфемные цепочки преобразуются в последовательности фонем, способны отражать конкретные фонологические процессы прошлого). Т.В. Гамкрелидзе отмечает в этой связи, что “описание диахронических процессов языка с помощью правил переписывания значимо не только как пример, иллюстрирующий переход с одного метаязыка... на другой...: такое описание имеет особое значение для установления и уточнения самой природы излагаемых закономерностей”* [12, 87].

Осталось сделать последний шаг – признать, что глубинный уровень языка изучает этимология, единицы этимологии – это единицы глубинной структуры современного состояния языка, а результаты этимологии и истории конкретного языка могут быть представлены – с максимально доступной в лингвистике формальной строгостью и последовательностью в виде *“правил переписывания”*.

Синтагматика и парадигматика – это не разные измерения или оси языка – это

две стороны, два аспекта, два способа проявления единой *синтагматико-парадигматической оси*, противопоставленной *оси эпидигматической (генетической, генеративной)*, представленной на всех уровнях языка. **Синтагматика и парадигматика в принципе не могут давать разных результатов.**

Из этого следует, что М.В. Панов, обнаружив принципиальную несводимость синтагмо- и парадигмо-фонем, обнаружил серьезнейшую трещину в здании МФШ, прошедшую через сердце фонолога. Реакция М.В. Панова на это, по-человечески, совершенно понятна. Он постарался ее заделать.

Во-первых, он обособил язык: язык – сам по себе, вся остальная действительность – сама по себе.

Во-вторых, призвал на помощь принцип дополнительности Нильса Бора и объявил, что парадигмо-фонемы – это *“волны”*, а синтагмо-фонемы – *“кванты”* и *“лишь вместе они описывают фонетическую [NB! – не фонологическую! – А.К.] систему языка”* [18, 292].

В-третьих, он назвал синтагмофонетику *“фонетикой слов”*, признав тем самым ее родство с теорией ЛФШ, а парадигмофонетику – *“фонетикой морфем”*, оставляя ее за МФШ [18, 291] и, тем самым, постарался вынести зазор между парадигмо- и синтагмо-фонетикой за пределы МФШ, представив его зазором между ЛФШ и МФШ и, по остроумному замечанию А.А. Реформатского, переместив МФШ из Москвы в Бологое.

В-четвертых, он еще раз (впервые – с *“волнами”* и *“квантами”*) применил запрещенный в науке прием – сравнение: *“Пусть одни и те же дела разбираются одновременно двумя судами – один исходит из презумпции виновности, другой – из презумпции невиновности. Тогда приговоры по одному и тому же делу часто были бы в этих двух судах различны. Различен оказался бы состав осужденных, различна статистика преступлений и т.д. Так и в фонетике: синтагматический анализ исходит из “презумпции нетождественности”, парадигматический – из “презумпции тождественности”; поэтому они*

строят разные ряды фонетических единиц, устанавливая разные закономерности, обосновывают разные выводы [подчеркнуто мной – А.К.]” [18, 13]. Рисуеться воображаемая картина, ей в соответствие ставится реальность языка и при этом подразумевается, что воображаемая картина и объясняет противоречия, обнаруженные в языковом материале. О талантливости М.В. Панова свидетельствует, кроме всего прочего, и тот факт, что на большую часть научной общественности эти приемы подействовали. Но отнюдь не на А.А. Реформатского, с оценкой которого мы вполне солидарны.

Между тем, как почти всегда у М.В. Панова, его ошибки и противоречия дороже последовательности и безошибочности многих иных лингвистов. Он обнаружил в фонологии противоречие между синтагматикой и парадигматикой, разрешение (а не отстаивание) которого способно вывести нас к новому фонологическому знанию.

Путь к этому на удивление традиционен. Надо принять восходящую еще к Платону идею о тождественности синтагматики и парадигматики и вернуться к самоочевидной для ученых XIX века мысли: “история языка – это и есть теория языка”. Положения исторической фонетики могут быть без особого труда «переодеты» в наимоднейшие наряды позиционной и генеративной фонологии. Но главное – они будут не просто констатировать, а объяснять факты современного русского языка или требовать их объяснения – при обнаружении аномалий.

В 1962 году С. И. Бернштейн сетовал: “Не скрою, что моя разработка последнего вопроса [анализ отношения фонологических единиц к знаменательным единицам языка (морфемам, словам, лексическим гнездам) – А.К.,] для которой мне не удалось найти опорные точки в фонологической литературе, меня не вполне удовлетворила: параллелизм в отношении последнего звена – лексикологических единиц – оказался неполным” [2, 63].

К счастью, с тех пор (напомним, что сама статья была написана в 1936 году) положение изменилось. Теперь можно

опереться на работы не только Бодуэна, но и Н.С.Трубецкого, самого С.И.Бернштейна, А.А.Реформатского, Д. Ворта [7], Ю.С. Степанова, Г.П. Мельникова, Л.Г. Зубковой, Г.А. Климова, и Т.В. Булыгиной [5; 6].

А самое главное – на сегодня русистика располагает идеально подготовленным материалом для решения этой проблемы. Этот материал содержится в “Словаре морфем русского языка” А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой, в котором сведены в морфемы корневые морфемы 52.000 слов русского литературного языка. Несмотря на то, что указанному словарю уже 15 лет, он, насколько нам известно, еще не был объектом фонологического исследования, что представляется досадным упущением.

Как видим, именно МФШ, причем – что особенно приятно – в союзе со Л.В. Щербой, дает всё необходимое, как в плане теории, так и в плане материала, для нового этапа “погружения в фонему”.

Изложим тезисно основные положения предлагаемой теории фонем.

(Каждому из предлагаемых ниже тезисов следует предпослать преамбулу, “В соответствии с изложенными выше принципами”).

1. Морфема состоит из фонем.
2. Фонемный состав морфемы не зависит от позиционных изменений.
3. Позиционные варианты фонемы могут иметь собственные позиционные варианты.
4. Русская фонология должна различать, как минимум, четыре фонологических позиции: ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ СТЫК (приставка+приставка или приставка+корень – внешнее сандхи), СУФФИКСАЛЬНЫЙ СТЫК (суффикс+суффикс или суффикс+корень – внутреннее сандхи), ФЛЕКТИВНЫЙ СТЫК (флексия+суффикс или флексия+корень – морфологически обусловленная позиция). Четвертой, нестыковой фонологической позицией можно считать ВОКАЛИЗМ КОРНЯ, также относящийся к ведению морфологии (словоизменению или формооб-

- разованию), а следовательно, и морфонологии.
5. Претензии морфонологии на статус самостоятельного языкового уровня, сформулированные С.Б. Бернштейном, при предлагаемом расширении границ фонологии и сужении границ морфонологии необоснованы. В новом виде морфонология – в полном согласии с позицией Э.А. Макаева и Е.С. Кубряковой – выступает как подраздел морфологии, занимающийся всего двумя грамматическими способами – чередованием звуков и места ударения. Соответственно, можно говорить о *сегментной* (чередования) и *супрасегментной* (ударение) морфонологии.
 6. Специфический признак *префиксального стыка* - допустимость зияния: *научить, во-оружить, во-образить* и т.д.
 7. ФЛЕКТИВНЫЙ СТЫК живет по законам морфологии, в первую очередь, по закону выравнивания основ. Специфику флективного стыка составляет оглушение звонких согласных основы перед фонемами [Ъ], [Ь] и допустимость сочетаний ГЕ, КЕ, ХЕ, ГИ, КИ, ХИ. И то, и другое является сигналом конца основы. Всё, что обычно говорится о семасиологизации и морфологизации чередований на стыке морфем, относится, в первую очередь, к флективному стыку.
 8. На СУФФИКСАЛЬНОМ СТЫКЕ наблюдаются не результаты исторических процессов, как принято считать, а продолжается никогда не прекращавшееся в этой позиции действие всех фонетических процессов, обусловленных законами (1) *возрастающей звучности в слоге* и (2) *слогового сингармонизма*.
 9. На суффиксальном стыке действуют законы восходящей звучности в слоге (частным случаем и следствием которого является “закон открытого слога”) и слогового сингармонизма. Таким образом, чередования на суффиксальном стыке являются фонетическими и позиционными.
 10. Русская сегментная морфонология должна изучать морфологизацию (т.е. замену фонетической обусловленности обусловленностью морфологической) звуковых чередований в корневой и флективной позициях.
 11. При определении фонологического состава морфем следует абстрагироваться не только от фонетически обусловленных чередований, но и от морфологически обусловленных чередований и от вызванных лексическими или морфологическими причинами преобразований по аналогии, поскольку последние имеют иносистемную природу и в силу этого должны быть “вынесены за скобки”.
 12. Тождество фонемы проявляется как тождество ее позиционно обусловленного проявления (поведения).
 13. А.А. Реформатский прав в отрицании фонематического плюрализма. Нет ни двух фонем, ни трех фонем. Есть одна фонема, и это фонема Бодуэна или фонема 3-ей степени обобщения - по С.И. Бернштейну. Ср. мнение ученика С.И. Бернштейна – А.А. Леонтьева: “В зависимости от выбранного нами критерия (т.е. объединяем ли мы в одну систему различные парадигмы одной и той же словоформы)... можно говорить о фонеме *г/ж/к* [*могу-можешь-мог* – А.К.] и даже *г/г'/ж/к* (*берегу-береги-бережешь-берёг*)» [Леонтьев А.А., 1996, с. 156].
 14. Возможно, фонемы трех степеней обобщения С. И. Бернштейна могут быть соотнесены с составляющими морфем, принадлежащих различным хронологическим слоям. Ср. уже у Бодуэна: “Наконец, можно еще упомянуть различные слои альтернатив, начало которых относится к различным периодам языковой жизни... имеется несколько главных слоев таких альтернатив: а) *общеариевропейского происхождения*, б) *общеславянского происхождения*, в) *коррелятивные альтернативы более нового происхождения, возникшие в период обособленного исторического развития... языка*... [Бодуэн (1895) 2, с. 308]”.

15. Основным вариантом фонемы следует признать тот, из которого закономерным образом выводятся остальные. Таким всегда является генетически (этимологически) первичный вариант фонемы. Этот принцип сформулировал сам И.А. Бодуэн де Куртенэ: *“...следует всегда принимать основанием то, что менее осложнено ... совершило менее спонтанических изменений. ... обобщение ... ближе тому звену дивергенции..., которое подверглось меньшим “случайностям”, т.е. перешло меньше стадий изменений как комбинационных (аккомодация и аффиктация), так и спонтанических (дегенерация)”* [Бодуэн (1881) 1, 124]. Ср. вполне бодуэновскую (особенно, если помнить, что американская морфонема – это фонема МФШ) позицию Д.Ворта: *“За основную форму морфонема берется та, из которой с максимальной простотой и точностью можно предсказать все на самом деле объективно существующие ее фонетические варианты”* [6, 57].
16. Консонантизм современного русского языка проще, а вокализм – сложнее, чем принято считать.
17. Некоторые “фонемы” современного русского языка при последовательном проведении морфемцентрического принципа оказываются позиционно обусловленными вариантами фонем.
18. Шипящие и аффрикаты в современном русском языке являются не фонемами, а вариантами фонем или сочетаний фонем. Например, Ж может быть вариантом фонемы [Г] – *моГу* – *моЖешь* или соответствовать сочетаниям фонем [ДИ] *воДИть* – *воЖу* или [ЗИ] *воЗИть* – *воЖу*.
19. Бодуэн писал: *“Результаты работы различных периодов, заметные в данном состоянии известного объекта, в естественных науках называются слоями: применяя это название к языку, можно говорить о слоях языка, выделение которых составляет одну из главных задач языковедения. <...> Крайне неуместно измерять строй языка в известное время категориями*
- какого-нибудь предшествующего или последующего времени. Задача исследователя состоит в том, чтобы подробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, сообразное с этими периодами...”* [4, 67-68]. Казалось бы – яснее ясного: **каждый** хронологический слой в данном языке должен описываться в своих **собственных** категориях – флексии – в одних, корни – в других, приставки – в третьих, праиндоевропейские суффиксы – в четвертых, славянские суффиксы – в пятых, интернациональные корни и суффиксы – в шестых. Существующая же практика до сих пор – под флагом историзма и (что самое курьёзное!) со ссылками на Бодуэна - анализирует всё так, словно всё возникло одновременно и сегодня.
20. Следует ожидать, что критерии тождества морфем будут различны для разных типов морфем в зависимости от их принадлежности к тому или иному хронологическому слою. Древнейшие – корневые – морфемы должны различаться и отождествляться в категориях породившей их ПИЕ системы. Ср. стимулирующую позицию Ю. С. Степанова: *“...словоизменение построено на новейших фонологических оппозициях, словообразование – с меньшим участием новейших оппозиций и большим участием более старых, регулярные отношения в лексике – с еще меньшим участием новейших оппозиций и еще большим старых оппозиций, нерегулярные отношения типа паронимии построены в очень малой степени на новейших оппозициях и главным образом на оппозициях старых и очень старых* [20, с. 262-263]”.
21. В современном русском языке есть фонемы [Ъ], [Ь], [Ё]. Есть и фонема [Ы]. Ее вариантом, действительно является звук И, но только И-непалатализирующий (ср. *хитрый*, *кинуть*), в отличие от [И]-палатализирующего. Звук же Ы может обозначать сочетание фонем [ЪИ], например, *предыстория*, *подызбица*. Оппозиция *быть* – *бить* является не оп-

- позицией согласных, а оппозицией фонем [ы||и].
22. В современном русском языке (за исключением заимствований и звукоподражаний) три У, ни одно из которых не является фонемой - У-смягчающий (обозначает сочетание фонем [eу]), У-несмягчающий = [оу] (сочетание фонем [оу] в речи реализуется как У (в позиции перед согласным) или ОВ (в позиции перед гласным) *рисУю || рисОВАть*) и У = [он/ом/ан/ам] – в позиции перед согласным (*звук – звон_ь; звучный – звон_кий; зову (< ъ_м)*).
 23. Противопоставление согласных по твердости–мягкости является позиционным, а не фонологическим признаком согласных.
 24. Уместно считать морфонологическими лишь те чередования звуков, которым можно приписать какое-либо морфологическое значение, например, *око-очи, ухо-уши, к-х* маркируют единственное число, *ч-ш* – множественное. В паре *умники – умницы* [к] маркирует мужской род, [ц] – женский. В паре *заработать – зарабатывать* [О] маркирует сов. вид. – [А] – несовершенный. Только такие “морфологизированные” чередования имеют право называться морфонологическими и составлять объект морфонологии.
 25. Оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова является не фонетическим и не фонологическим, а морфонологическим (морфологическим) явлением. Это – сигнал конца слова на флективном стыке перед фонемами [Ъ], [Ь].
 26. Принято считать чередование *графить – графлю* аналогическими [3, 11]. Гораздо естественнее предположить, что это свидетельство того, что на суффиксальном стыке процесс йотации губных (и прочих согласных) никогда не переставал действовать и продолжает действовать (по крайней мере, в литературном языке) по сей день.
 27. В корне *жар* [ж] является позиционно обусловленным вариантом фонемы [г], а [а] – позиционно обусловленным вариантом фонемы [Ě]. Утверждение С. Б. Бернштейна о разрыве единой в этимологическом отношении морфемы *гар-жар* ни на чем не основано [3, 11]. Их семантика по-прежнему едина, фонематический облик [гĚр – гАр] близок, а апофоническое чередование [Ě||ō] само по себе никогда не нарушало тождества корня, ср. *под-несу – под-нос* [e||o]. Утверждая так, С.Б. Бернштейн противоречит сразу обоим постулатам МФШ. Даже если процесс дивергенции корневых морфов достиг такой стадии, как в парах *чистить* и *цедить*, *ценить* и *каяться*, *шалить* и *нахал*, *комар* и *шмель*, *конец* и *начало*, нет смысла отказываться от их отождествления, потому что направления их семантического развития не произвольны, а заданы и предопределены строением семантического пространства языка – структурой в высшей степени консервативной и устойчивой, продолжающей направлять семантические процессы новейших неологизмов так же, как это делалось и тысячи лет тому назад. Лишать себя этого знания, делать вид, что его не существует или что оно нас не касается, значит лишать себя способности к пониманию и объяснению семантических процессов в современном русском языке.
 28. Что это дает? Мы получаем возможность:
 - а) объяснять реально представленные в русском языке формы, опираясь на знание истории языка и этимологии, пользуясь ими как ключом к его текущему состоянию, а не отмахиваясь от них как от чего-то ненужного и даже мешающего;
 - б) обнаруживать нарушения закономерностей и ставить вопрос об их причинах;
 - в) не разрывать и не противопоставлять синхронию и диахронию, а находить их друг в друге;
 - г) соблюдать декларируемые нами фонологические и общенаучные принципы;
 - д) видеть за пестротой и неупорядоченностью речевых явлений строй-

ность и организованность языковой сущности;

е) формализовать и компьютеризовать те процессы, которые ранее казались неформализуемыми и не подчиняющимися какой бы то ни было закономерности.

Наконец, мы получаем возможность строить преподавание русского языка не как заучивание длинных списков исключений, а как мечтал Бодуэн: *“Озарять светом сознания существующие в бессознательном или полубессознательном состоянии ассоциации языковых представлений и через их надлежащее освещение и умелое сопоставление помочь носителям этого живого материала самим делать требуемые научные выводы”* [Бодуэн 1963, 2, 246].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. – М.
2. Бернштейн С.И. Основные понятия фонологии // Вопросы языкознания. – 1962. - № 5.
3. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. – М.: Наука, 1974.
4. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. -Т. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.
5. Булыгина Т.В. Проблемы теории и практики морфологического описания // Изв. АН СССР, Сер. ЛиЯ. – 1975. - № 4. – С. 328-340.
6. Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. – М., 1977.
7. Ворт Д. О роли абстрактных единиц в русской морфонологии // Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. – М.: Наука, 1975.
8. Гете И.В. Беседа с Наполеоном // Собр. соч. в 10-ти тт., Т. 9, М.: Худ. лит-ра, 1980, с. 438].
9. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. – М.: Изд. отдел Моск. патриарха, 1993.
10. Касаткин Л.Л. Фонологические школы // Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому языку /Под ред. Леканта П.А. Изд. 2-ое, испр. и дополн. – М.:Высшая школа, 1995.
11. Касаткин Л.Л. О некоторых понятиях и терминах Московской фонологической школы // Проблемы фонетики II. Сб. статей /Отв. ред. Л.Л. Касаткин. – М., 1995.
12. Климов Г.А. Основы лингвистической компаративистики. – М.: Наука, 1990.
13. Кузьмина С.М. Понятие гиперморфемы в Московской фонологической школе // Проблемы фонетики II. Сб. статей / Отв. ред. Л.Л. Касаткин. – М., 1995.
14. Кузнецов П.С. К вопросу о фонематическом составе французского языка (1941) – цит. по: Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. – М., 1970.
15. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. – М.: Русский язык, 1986.
16. Леонтьев А.А. Русская фонетика в универсально-сопоставительном освещении // С.И. Бернштейн. Словарь фонетических терминов. – М.: Изд-ская фирма “Восточная литература” РАН, 1996.
17. Панкрац Ю.Г. Морфонология в описании словообразовательной системы русского языка (проблемы и пробелы) // Актуальные проблемы русского словообразования. Сб. науч. статей. – Ташкент: Укитувчи, 1982.
18. Панов М.В. Русская фонетика. – М.: Просвещение, 1967.
19. Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. – М., 1970.
20. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.
21. Трубецкой Н.С. Морфонологическая система русского языка // Избранные труды по филологии. – М., 1987.
22. Уорт Д. Русский словообразовательный словарь. Введение // Новое в за-

руб. лингвистике. Вып. XIV. Проблемы и методы лексикографии. – М.: Прогрес, 1983.

23. Флайер М.С. Морфонологическое изменение как свидетельство фонологического изменения: статус мягких велярных в современном русском языке // Проблемы фонетики II. Сб. статей / Отв. ред.

Р.Ф. Касаткина. – М.: Наука, 1999. – С. 299-309.

24. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. Изд. 3-е, исправ. и расшир. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1948.